
Алексей Овчаренко
Я НЕ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Алексей Овчаренко

Я НЕ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

«Автор»
2026

Овчаренко А.

Я НЕ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ / А. Овчаренко — «Автор», 2026

Автора обвинили в том, что он — машина. Не потому, что писал плохо. А потому, что писал слишком честно для стандарта, который алгоритмы считают человеческим. «Я не искусственный интеллект» — это семь кордонов, через которые проходит писательмигрант, чтобы отстоять простое право: быть услышанным без справки о подлинности. Детекторы, обученные на усреднённом тексте, не отличают сбой от боли. Бюрократия чужой страны требует благодарности взамен на молчание. А система требует от автора одного — стать удобным. Это книга о том, как не исчезнуть под грузом цифр и формуляров. О праве на шрам, на повтор, на неровный ритм — на всё то, что делает голос живым, а не оптимизированным под чей-то алгоритм. И о том, что единственная настоящая валюта, которую невозможно подделать, — это прожитая жизнь, вложенная в слово.

© Овчаренко А., 2026
© Автор, 2026

Алексей Овчаренко
Я НЕ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ


Я НЕ
ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
АЛЕКСЕЙ ОВЧАРЕНКО

Я НЕ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Алексей Овчаренко
Трактат. Публицистика. Философская проза
2026

Дисклеймер

Эта книга — не манифест против технологий как таковых и не обвинительный акт в адрес конкретных людей или организаций. Назвать вещи своими именами я обязан прямо здесь, на первых страницах, а не оставлять читателя гадать. Технологии в моей работе — инструмент, а не соавтор. Они помогают там, где на профессионального редактора и дизайнера нет средств: вычитать текст, поймать опечатку, собрать обложку. Но ни одна программа не придумала для меня ни единой мысли, ни единого воспоминания. Идею, боль, память — то, ради чего вообще стоит это читать, — в промпт не вставишь. Если эта книга попадёт в руки тех же цифровых инквизиторов, о которых она написана, — пусть они начнут с этой страницы.



Глава I.

Как детекторы убивают живой голос Представь, что ты написал письмо. Не для кого-то. Не для публики. Для себя. Ночью, когда никто не видит. Когда рука сама тянется к бумаге, потому что внутри что-то горит, и если не выплеснуть — сгоришь сам. Ты выкладываешь это письмо в сеть. Не за славой. Не за деньгами. Просто чтобы не молчать. А утром тебе говорят: «Это писал искусственный интеллект». Не критикуют. Не спорят. Не разбирают, что ты хотел сказать. Просто ставят клеймо. Ты смотришь на экран и не понимаешь: как можно спутать живое с машиной? Как можно не почувствовать пульс за строкой? А потом понимаешь. Они и не чувствуют. Мы живём в эпоху парадокса. Человечество производит столько текста, как никогда прежде. И никогда ещё так люто не ненавидело подлинное человеческое высказывание. Стоит автору принести в текст собственный ритм, стиль, свои повторения — рождённые не от лени, а от накала мысли, — и система немедленно выносит приговор: «Это сгенериро-

вано». Штамп. Универсальная дубинка. Любой текст, выходящий за рамки бесчувственного стандарта, сегодня презумптивное виновен. Назовём вещи своими именами. Искусственный интеллект в оформлении моих книг — не генератор смыслов, а костыль от безвыходности: вынужденная мера человека, у которого нет свободных средств на дизайнера, чтобы заказать обложку. Текст же выстрадан, выношен годами опыта, пропущен через личную боль, скитания и поиск. И этот живой голос обвиняют в том, что он фальшив. Если следовать логике сегодняшних судей, под запретом скоро окажется сама человеческая особенность: сбился ритм — машина; повторилась мысль для усиления удара — нейросеть; пишешь не по лекалам позапрошлого века — значит, тебя не существует. Это не забота о читателе и не защита авторского права. Это уничтожение автора как такового — а на его место встают две категории: корпоративные конвейеры, штампующие бездушную жвачку, и узкий круг неприкасаемых с тугими кошельками, которым дозволено издаваться за счёт издательств. Всех остальных должны объявить ботами и выбросить за борт. Чистота? Это не чистота. Это крематорий. Самое грязное — в двойных стандартах. Корпорации заталкивают искусственный интеллект в каждый утюг, заставляют мир пожирать суррогат терабайтами, набивая себе карманы. А те же самые алгоритмические псы начинают вынюхивать «подделку» у тех, у кого нет ни капитала, ни связей, ни влиятельных агентов. Чуть качнулся ритм — плати лицензию, нанимай штат редакторов, вылизывай текст до состояния мёртвого пластика. А если ты без средств, если пишешь кровью на обрывках реальности — для системы твоя боль лишь «аномалия в коде». Они боятся живого человека, потому что его нельзя просчитать по маркетинговым метрикам. И тут — циничный абсурд всей этой цифровой инквизиции. Кто выносит вердикт о подлинности живого слова? Детекторы искусственного интеллекта — программы, обученные на серверах, жрущие те же объёмы чужих текстов. Алгоритм судит человека за то, что он якобы машина, опираясь на собственную слепую, ущербную логику. Если взять классиков, особенно тех, кто писал ритмично и чеканно, строчка к строчке, без лишней воды, — по сегодняшним меркам их бы заклеймили первыми: современные детекторы выдали бы стопроцентную «машинную генерацию», потому что текст читается слишком гладко, слишком совершенно для алгоритма, привыкшего к бытовому хаосу соц сетей. Толстого обвинили бы в затянутости, Достоевского — в «истероидном синтаксисе», Чехова — в шаблонности. Но искусственного интеллекта в девятнадцатом веке не существовало. Писал живой человек — потом, пройденным опытом, годами каторжного труда над языком. Индустрия разучилась верить человеку настолько, что готова отменить саму историю литературы, лишь бы подогнать всё под слепой стандарт. А теперь — главное, ради чего всё это написано. Детекторы ошибаются. Грубо. Системно. Они называют машинным то, что написано человеком, и человеческим — то, что с генерировано. Они меряют текст статистикой, а статистика не знает, что такое ответственность за слово. Я видел, как они объявляли «машинными» тексты, которые писались ночами, и пропускали гладкий, пустой спам — потому что тот был достаточно предсказуем для их проверки. Это не экспертиза. Это лотерея, где заряженный пистолет всегда направлен на живого человека. Долго думал, с чего начать. Не с обвинения. С факта: меня обвинили в том, что я — машина. Не потому, что писал плохо. А потому, что писал просто, слишком просто, слишком честно — так, как, по мнению алгоритма, человек писать не может. А сейчас я хотел бы взять немного из своей книги «Сургаренк: Хроники Забытого Распада». Я помню, как пахнет подвал, в котором мы прятались. Сырость. Плесень. Страх. Помню голос жены: «Я больше не могу» — и как она всё равно вставала утром и терпела вопреки. Помню лицо сына, когда он спрашивает: «Папа, мы снова в подвал?» — и как я говорю «нет», хотя знаю, что вру. Помню, как в чужой стране, во временном жилье, сидел на кровати и смотрел на жёлтый конверт в руках, и как у меня дрожали пальцы — не от холода, от страха неизвестности. Я помню, как социальный работник — землячка — встретила нас словами: «Мы ждали не вас». Как люди на общей кухне ругались из-за мелочей. Как мать с тремя детьми получила продуктовый набор с истекающим через два дня сроком годности. Как

мужчины, прошедшие террор, сжимались при виде жёлтого конверта в почтовом ящике. Как мой трёхлетний сын учится не шуметь, чтобы не привлекать внимания. Как жена — умная, сильная — улыбается социальным работникам, а потом плачет ночью, отвернувшись к стене. Я писал об этом. Мне сказали: «Это слишком мрачно. Добавьте надежды». Надежды? Когда за окном её попросту нет. Я отвечал: надежда — это когда в квартире царит теплота. Или когда ребёнок спрашивает «Папа, мы дома?» — и ты можешь ответить «да». Они хотели историю успеха в красивой обёртке. Я отказался. Остался «не форматом», «токсичным», «слишком сложным». А потом сказали: «Это писал ИИ». Живой голос — это не рыхлость и не ошибки. Это присутствие. Когда за строкой чувствуешь дыхание, когда слово пахнет не редактором, а словом, каким оно есть. Когда текст — не продукт, а свидетельство. Когда автор пишет так, будто его никогда не прочтут, — потому что только тогда исчезает внутренний редактор и ты становишься собой. Детекторы работают на статистике: ищут вероятность того, что следующее слово — именно это, а не другое. Слишком ровный ритм — подозрительно, слишком рваный — тоже подозрительно, потому что «имитирует человека». Любой текст можно объявить машинным, если захотеть. Это не ошибка системы. Это её функция: инструмент селекции, который отсеивает неудобных — тех, у кого нет своих коучей, капитала, издательского бюджета. Формулируют вежливо: «Ваш текст обладает глубиной, однако не соответствует запросам рынка». Или: «Стиль слишком узнаваем. Возможно, с генерирован». Живой человек, который пишет о живом, объявлен неживым. Машина, обученная на спаме, назначена судьёй. Это не литература. Это постоянное оправдание. Я знаю, что я не машина — не потому, что у меня есть пачка черновиков, а потому что помню. Машина не помнит. Машина не боится. Машина не пишет, чтобы выжить. Я пишу, чтобы выжить — каждую ночь, каждое слово. Если вы не видите этого — это не моя проблема. Это ваша слепота. Я видел, как в лагерях и во временном жилье ломаются люди — как они перестают быть личностями и становятся «получателями помощи», как забывают, кем были. Это не их вина. Это вина системы, которая делает человечность роскошью, а выживание — важнее достоинства. Я писал об этом. Я свидетельствовал. И мне сказали: добавьте надежды. Я не могу добавить того, чего нет. Я могу только сказать правду. А правда в том, что система хочет не твоей надежды, а твоей благодарности — за место, за помощь, за право дышать. Я хочу быть человеком, а не «кейсом». «Мигрант по смыслу» — это тот, кто перешёл из мира, где слова имели вес, в мир, где они стали шумом. Он не вписывается в систему координат не потому, что хуже, а потому, что другой: принёс с собой живую боль и живое слово, а система детекторов привыкла к суррогатам и не узнаёт подлинник — считает его сбоем. Она пытается стереть такого автора не физически, а через игнорирование, через обвинения в «неестественности». Но он не исчезает. Молчать — значит предать себя и тех, кто уже ничего не скажет. Я не знаю, буду ли услышан, найду ли своего читателя, который не потребует «упростить философскую составляющую». Но я не остановлюсь. Буду писать после смены обстоятельств, после унижений, после того, как уложу сына спать — потому что это единственное, что у меня осталось, единственное, что не могут отнять. Слово сегодня обесценилось до состояния пыли. Но пыль — это то, из чего рождается земля. И на этой земле ещё будут стоять те, кто писал правдой, а не кодом. Литература начинается там, где машина замолкает. Я — один из них. Я — живой. И я продолжу говорить.

Глава II.

Цена «чистого» листа

Знаешь, что самое смешное во всей этой войне с детекторами? То, что система заставляет тебя сомневаться в собственном голосе. Сидишь перед пустым экраном в съёмной комнате, за стенкой тихо гудит чужой холодильник, пальцы ложатся на клавиатуру — и вместо того, чтобы думать о сути, о том самом комке в горле, который требует выхода, ты ловишь себя на дикой паузе: «А вот это слово — не слишком ли гладкое? А не сочтёт ли алгоритм этот оборот слишком правильным?» Ты начинаешь сам себя цензурировать. Сам подрубаешь

себе крылья, пытаясь угодить куску искусственного кода, который не умеет дышать словом. Это и есть главная победа системы. Ей даже не нужно сжигать твои рукописи — она заставляет тебя самого сомневаться, человек ли ты вообще. Я смотрю на свои книги на полке. Под каждой обложкой — бессонные ночи, годы скитаний, чужие вокзалы, глухой страх перед завтрашним днём. И какая-то строчка кода с сервера в чужой долине будет доказывать мне, что я — «высокая вероятность фальши»? Литература никогда не была стерильной операционной. Настоящая литература пахнет живым голосом, дешёвым табаком, остывшим крепким чаем, который пьёшь тайком от сына, пока он спит. В ней есть шероховатости и заусенцы, случайные повторы, потому что человек — не таблица Excel. Человек имеет право сбиваться с шага, повторять одно и то же слово три раза подряд просто потому, что в этот момент у него внутри рвётся жила. Но я пишу не для того, чтобы вписаться в их детекторы. Я пишу, потому что молчание — это соучастие в собственном поражении. Когда у тебя отнимают привычный мир, и дом твой остаётся там, где запах свежего хлеба, а ты находишься здесь, в чужих домах, и начинаешь с абсолютного нуля, — у тебя остаётся одно оружие. Твой язык. Твоё слово. И если это слово кажется кому-то «слишком плотным» для европейского глаза — значит, я всё делаю правильно. Ты когда-нибудь пробовал измерить тишину? Не ту, что в лесу или в пустой церкви среди запаха воска, а ту, что нависает в комнате чужестранца, когда гаснет последний свет, а в голове крутятся обрывки вчерашних новостей, стук колёс поезда, увозившего в неизвестность, и детский шёпот: «Папа, а когда мы всё-таки вернёмся домой?» Алгоритмы этого точно не умеют. Для них тишина — просто пауза в потоке данных, нули в строке кода. Они не знают, что за каждым таким промежутком стоит человек, у которого вырвали почву из-под ног. Нам говорят: ровняйте текст, интегрируйтесь в европейский формат, улыбайтесь социальным работникам, заполняйте бланки, будьте, в общем, удобными. Тебе выдают право на встречу с агентами — и за это требуют главного: молчания. Не высовывайся. Не рефлексируй слишком громко. Твоя травма — твои проблемы. Главное — не порти статистику отчётов о благополучно размещённых людях. А куда девать то, что не помещается в формуляры? Ночные кошмары, в которых снова воют сирены? Ощущение полной прозрачности, когда идёшь по улице европейского города, понимая, что для системы ты — не писатель, не человек с именем и книгами, а строчка в реестре: «кейс», «проситель», «получатель»? Когда я сажусь за стол, я делаю это не для того, чтобы выиграть конкурс или получить грант. Я делаю это, чтобы не раствориться в воздухе. Чтобы доказать самому себе: я есть, я чувствую, я помню запах сырого подвала, желтизну казённых конвертов и тот липкий страх, который сковывал горло в первые недели на новом месте. Но системе мало забрать твой покой. Она хочет забрать и это. Она говорит: твоя боль фальшива, потому что в ней нет полезного коэффициента. Или ещё циничнее: «Ваш текст слишком похож на генерацию». Цифровой мир отучил людей верить искренности. Всё, что лишено глянца и постановочной радости сторис, воспринимается как подделка или угроза. Тебе плохо — ты токсичен. Пишешь о боли — давишь на жалость. Твой язык лишён игривости — значит, ты робот. Мы дожили до времени, когда за честность нужно оправдываться перед фильтром. Система хочет видеть литературу стерильной, как больничная палата после капитальной уборки. Ей нужны плоские истории по шаблону, где персонаж вовремя пьёт латте, решает надуманные проблемы и улыбается в камеру, — гладкая жвачка для уставших мозгов, которая легко проглатывается и не оставляет послевкусия. А когда ты приносишь кусок свежего мяса со всеми прожилками, с рваным синтаксисом и горьким привкусом казённых стен, — начинается паника. «Ошибка! Не формат! Бот!» Им проще объявить тебя роботом, чем признать: человек может чувствовать настолько остро, что никакой алгоритм за ним не поспевает. Машина не умеет сжимать зубы от бессилия, глядя на спящую семью в чужой квартире. Она не задыхается по ночам от фантомного воя сирен. Сидит где-то в облаке скрипт, обученный на тоннах рекламных буклетов и пресных отчётов, — и решает, что знает о человеческой искренности больше, чем тот, кто через неё прошёл. Слишком высокая плотность метафор.

Ритм текста отклоняется от нормы. Вероятность искусственного происхождения — 65% Какая норма у отчаяния? По каким таблицам измеряется судорога в пальцах, когда пишешь главу о прожитом нелёгком опыте, заново переживая каждый километр дороги в никуда? Есть ещё одна ловушка, о которой не принято говорить. Меня пытаются загнать в языковую резервацию. Когда оказываешься в другой стране, язык детства, на котором ты думал и тихо мечтал, вдруг оказывается заперт в стеклянной клетке. Вокруг говорят на чужом, ещё не до конца приручённом немецком или английском, а дома, в закрытом пространстве экрана, ты продолжаешь сражаться с русскими буквами, пытаясь выжать из них правду о том, что с тобой происходит здесь и сейчас. И тут начинается двойное поражение. Пишешь на русском — алгоритм подозревает в тебе бота, потому что у тебя нет права на сложные конструкции без издательского бэкграунда за спиной. Пробуешь перевести на английский или немецкий, чтобы выйти из глухой изоляции, — и нарываешься на новый блок, потому что машинный перевод сглаживает живые неровности, выравнивает интонацию до ровной шкалы — делает текст слишком правильным для их же стандартов. Родная речь для них — подозрительный контент. Чужая, вымученная через словари, — стерильная подделка. Получается замкнутый круг, из которого нет выхода ни на одном из двух языков. Системе удобно, когда писатель-мигрант молчит — занят выживанием, обиванием порогов, заполнением бумажек. Ей страшно, когда этот мигрант поднимает голову и начинает писать книги, не укладывающиеся ни в миграционные квоты, ни в маркетинговые тренды. «Вы не интеграцию пишите, вы пишите отчёты о курсах», — говорят мне своим молчанием. А я пишу о том, как человек теряет почву под ногами и заново учится дышать. О том, как пахнет чужая осень в немецком городке, когда в кармане паспорт, который сейчас токсичен для европейского комфорта, а в голове крутится только одно: как сделать, чтобы сын не боялся стука в дверь. Я не прошу у них снисхождения. Мне не нужны их гранты на «правильную литературу о моей жизни» и их одобрение. Настоящее слово покупается слишком дорогой ценой, чтобы отдавать его на откуп алгоритмам. И пока пальцы бьют по клавишам старого ноутбука, а за окном шумит ночной дождь над чужими крышами, — эта граница остаётся моей. Я пишу вне их законов. На языке, который не требует никакой визы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.